

Сергей БОРОВИКОВ

В РУССКОМ ЖАНРЕ – 60

И вот дождался круглой цифры своего цикла.

Предыдущая дата пришлась на 2015 год и совпала с юбилеем журнала «Знамя», где 50-я глава и была напечатана.

Тогда бы и закончить! надо ведь завершать начатое, не дожидаясь, пока жизнь сама не завершится. Тем более что такая возможность у нас с жанром вскоре случилась, когда на исходе 2016 года я всерьёз начал путешествие в далёкие края, да что-то там не срослось, и я вернулся обратно. И цикл продолжился, но нельзя же, повторяю, длить его без конца в расчёте на маячащий впереди финал, который «близок ли, далек ли».

Но так как у моего «жанра» есть читатели и даже, честное слово, поклонники, они могут спросить: «А если опять что-то наскочит русско-жанровое, куда его денешь?»

Отвечаю: куда-нибудь пристрою, ведь и другие мои сочинения всегда предполагали «русский жанр». И за долгие годы я использовал его в статьях и рецензиях, журнальных и газетных: мои тексты, что хочу, то с ними и делаю.

Из того же авторского своеволия я собираю последний русский жанр из написанных в очень разное время текстов.

Время вспоминать и время умирать

Итак, настало время воспоминаний.

Николай Климонтович – из того ряда писателей, которые почти не печатались при Советской власти, а с отменой в стране цензуры вскоре сделались «центровыми» фигурами: Евгений Попов, Вячеслав Пьецух, Виктор Ерофеев. Все они примерно одного возраста: 50-55 лет, но я не стану заталкивать их в «поколение», чем так любят заниматься иные критики, создавшие некогда «шестидесятников», «деревенщиков», «сорокалетних» и пр. Общим для них был ярко выраженный нонконформизм и внимание к литературному мастерству, роднящее их с писателями начала века и 20-х годов, в отличие от царящего у шестидесятников поклонения «искренности», «самовыражению», «нутру»...

Первое крупное произведение Климонтовича роман «Цветы дальних мест» (1976–1979) впервые был напечатан в нашей «Волге» в 1991 году. Трудно было понять, что там напугало советских редакторов: даже и по советским меркам роман не содержит чего-то из ряда вон выходящего в описании тяжких трудовых будней геологической партии, затерянной в пыльных просторах казахской степи. Впрочем, загадка немного приоткрывается из приведённой на четвёртой стороне обложки отзыва главного редактора журнала «Новый мир» Сергея Наровчатова: «Неприемлемы казахи Н. Климонтовича. Один пьяница, другой уголовник... Это “туземцы” в самом прямом смысле слова. Возьми мы такой роман в печать, что бы пришлось делать с этими “представителями братских республик”?»

Да, подзабыли мы этот особо сфокусированный редакторско-цензорский взгляд, когда с истинно дьявольской изощрённостью требовалось разглядеть идеологический подвох там, где автору он и не снился. А ещё забавно, что автор отзыва сам был горьким забулдыгой даже на фоне пьянейшей среды московских поэтов, что не мешало ему постоянно занимать должности то в Союзе писателей, то в парткоме, и, наконец, сделаться главным редактором. Впрочем, нет, не так: не только не мешало, но помогало, ибо власть очень ценила верных линии партии пропойц, всегда виноватых и легко

управляемых.

В книге Николая Климонтовича «Цветы дальних мест. Конец Арбата. (М.: Издательский дом Гелеос, 2001) старый роман оказался в соседстве с его новейшей прозой совсем иного толка. Это соединение можно назвать спорным. С одной стороны, если кого-то из читателей интересует то, что некогда именовалось «творческий путь» автора, то такому читателю будет любопытно познакомиться с разными его этапами. Но этот подход скорее приличествует посмертным собраниям сочинений, тогда как Николай Климонтович пребывает в здравии и творческой активности, результатами коей стал мемуарный жанр: кроме «Конца Арбата», «Последняя газета» и продолжающийся цикл «Далее везде», являющийся продолжением «Конца Арбата». Так как Климонтович не избалован отдельными изданиями, можно понять его желание увидеть ещё раз в книге некогда многострадальные «Цветы дальних мест», однако куда естественнее было бы соседство с новой мемуарной прозой ранее написанных циклов рассказов «Фотографирование и проч. игры» и «Дорога в Рим», уже пронизанных ностальгической мемуарностью.

«Конец Арбата». Две недели герой не был в проходном дворе, куда заходил из чистой ностальгии: один из поступков, которые присущи «тем, кому за...»: «Нырнул я в этот проходняк без особой нужды, срезая всего полторы сотни метров, когда б пришлось обходить дом по краю площади, всё лишь из сладкого чувства причастности, ведь хитрый этот путь мог знать только старожил...» И обнаружил, что за эти две недели «всегда казавшийся мне очень большим дом, поставленный задолго до революции, задом приткнутый к другому такому же, а фасадом глядевший на Арбатскую площадь, — дом исчез как отрезали. Исчез целиком без следа и остатка, и на его месте оказалась ровная и на удивление небольшая уже заасфальтированная площадка, на которой теперь парковали автомобили».

...Когда я в своём Саратове не бываю какое-то время где-нибудь на улочке имени Тараса Шевченко, которую мы называли Тараска, или на Бахметьевской, одно время прозывавшейся в честь всё той же дружбы с Украиной именем вдруг прославляемого в СССР гетмана с весьма спорной исторической репутацией Богдана Хмельницкого, я вдруг, подобно автору «Конца Арбата», обнаруживаю, что исчез едва ли не целый квартал, в котором помещалась огромная жизнь с домами и заборами, палисадниками и сараями, брандмауэрами и чердаками, гаражами и голубятнями, погребами и лавочками у ворот, куда сползались к вечеру обыватели, а теперь вот насквозь — рукой подать — видны сразу две улицы, и на пустыре уже бодренько, совсем как и в Москве Климонтовича, нечто сооружается или асфальтируется. Какая разница, что там Никитский бульвар, а здесь Вольская. Был дом — и нет его. Была жизнь и нет. Будет другой дом и будет другая жизнь. Другая, как у Юрия Трифонова, который, как никакой другой русский писатель второй половины XX века, умел передать безжалостную власть текущего времени над каждым из нас. Всё это неизбежно, и, вероятно, так тому и быть. Почему же так щемит сердце, глядя на беспощадный снос и наглый новострой? Только потому, что то была наша жизнь, а ей на смену пришла другая? Жаль, что эта неизбежность отчего-то осуществляется непременно руками приезжих, пришлых, активно утверждающихся во власти что в Москве, что в Саратове, как правило, выходцев из села, которым новый дом всегда лучше старого, а сердечная память их связана с совсем иными местами и предметами, чем кованая ограда сквера или подъезд в изразцах...

Я позволил себе отвлечься от текста Климонтовича, потому что читать «Конец Арбата» — это слышать тот самый колокол, который звонит и по тебе. Воспоминания людей одного времени на удивление похожи и, быть может, скучны иным поколениям. Старый дом и его обитатели, друзья детства и их дальнейшие судьбы, всепроникающая грусть по ушедшему...

Илья Ильф любил говорить: «Идёмте отсюда, здесь нам уже ничего не покажут».

Вот и поколению Николая Климонтовича, то есть и моему, пришла пора сказать это.

P.S. Это написано давно, а уже четыре года, как замечательного, милого, близкого по духу Коли Климонтовича нет в живых. Нашему поколению пришла пора не вспоминать, а умирать. Может, и о нас вспомнят и напишут.

Заметки голодного

Что такое был нэп, можно обнаружить в неожиданных местах, например, в хорошо знакомых текстах.

Действие романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» происходит в 1927 году.

Первые страницы – конкуренция гробовщиков в уездном городишке. Не слабо?

«Нужно переезжать в гостиницу», – говорит Остап Воробьянинову, и тут же они «остановились в меблированных комнатах “Сорбонна”. Остап переполошил весь небольшой штат отдельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезлые и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин.

– Я не могу жить в одной комнате с пейзажами, – сказал Остап. – И это в губернском городе средней руки».

Строительство старгородского трамвая, которому уделено немало места в первой книге, производит акционерное общество.

Вспомним далее хорошие знакомые сцены на аукционе, где легко и просто и относительно недорого можно было приобрести ореховую мебель (за которую нынче о. Федору пришлось бы выложить сумму, едва ли не равную искомым сокровищам), разрозненные гербовые сервизы, гобелены и «прочую галиматью», по определению авторов.

Но ладно, остатки былой роскоши население, поглощенное коммунистическим строительством, презирало, и они могли интересоваться разве что буржуазного спеца Брунса.

Но самое поражающее наше голодное воображение – это еда. Напомним: не 1913 или иной благословенный год, а спустя пять лет после гражданской войны и многолетнего голода. От гречневой каши, которую поедают гробовщики «Нимфы», и до гусиной ножки, которую подносит к розовому рту инженер Брунс, гастрономическое наполнение книги (притом что оно явно не занимало наблюдательных авторов, но являлось лишь по мере надобности) не может не удивлять. Мой отец, которому в начале НЭПа было 16 лет, любил вспоминать, как буквально на следующий день после объявления новой экономической политики в частных магазинах появилось всё.

Когда в гостинице «Франция», расположившейся в закавказском селении, проезжающие кричат: «Хозяин, пятнадцать шашлыков!», а дело происходит ночью, и разбуженные горцы волокут на кухню кричащего барана, или там же рядом Альхен и Сашхен едят шашлык по-карски и запивают его кахетинским № 2, поджидая заказанную осетрину, – это все-таки укладывается в стереотип нэпманского разгула и т.п.

Но вот описание бедности, едва ли не нищеты молодой студенческой пары, которая вынуждена питаться в вегетарианской столовой. Фальшивый заяц, шарлотка, морковные, картофельные и гороховые сосиски, борщ монастырский и лапша настоящая, которые омерзели Лизе и так веселят авторов – это, как хотите, впечатляет.

В «Золотом теленке» тоже еще немало следов довольства, хотя писатели уже и заметили, что пиво стали продавать только членам профсоюза.

Итак, И. Ильф и Е. Петров, а также А. Толстой, В. Катаев, М. Булгаков и многие другие писатели даже советской эпохи, не говоря уж о Н. Гоголе или П. Мельникове-Печерском, дождались того неожиданного чтения, когда литература способна

восприниматься желудком. Бедная Россия!

P.S. Эта заметка была опубликована в новорожденной «Независимой газете» в начале 1991-го, самого голодного на моей памяти года, отсюда и её неподдельно-желудочный пафос и зависть к возможностям нэпа. Ведь конкуренция гробовщиков, свободные на выбор номера в гостинице, вегетарианская столовая – все это было прочно забыто к 91-му году.

Сейчас в продаже полно всякой еды, но слыша постоянные лицемерные призывы руководства страны к поощрению «малого и среднего бизнеса», не могу не думать: вы бы не мешали частникам, не душили их дела, всё бы само и сладилось...

Речь, произнесённая другим

В премиальные времена была и такая: Аполлона Григорьева (1997–2005), Академии Российской Современной Словесности АРСС размером 30000 \$. Самое смешное, что таких академий было, как и многого в 90-е годы, две. Наша, учрежденная 7 критиками, и сразу следом, в 1998-м, учрежденная Проскуриным, Поляковым, Беловым, Михалковым, Бондаревым, Ганичевым, немедленно провозгласившая себя «исторической и идейной правопреемницей Российской Академии, созданной в 1783 году Указом императрицы Екатерины II». Но да ладно, обе академии уже скончались.

В 2002 году в финал «григорьевки» вышли с прозаическими текстами трое – Марина Вишневецкая за «А. К. С. Опыт любви» (журнал «Знамя», 2002, № 11), Андрей Геласимов «Жажда» (журнал «Октябрь», 2002, № 5) и Сергей Гандлевский «<НРЗБ>» (журнал «Знамя», 2002, № 1).

Последний и был кулуарно определен в фавориты, для чего основания имелись. Самый старший из троих, талантливый поэт Гандлевский написал несколько прозаических сочинений, которые, как, например, «Трепанация черепа», не раз прочили в победители «Букера» и других престижных конкурсов. В «аполлоновском» же раскладе преимущество отдавалось Гандлевскому перед Мариной Вишневецкой, так как она только что была удостоена премии Ивана Белкина за тот же «Опыт любви». А как известно, ни в какой, в том числе и в литературной среде, не любят, когда уж слишком много звезд сыплется на одну голову. (Текст же молодого Геласимова по справедливости всем виделся ступенькою ниже.)

Подобно всем «академикам», я обязан был представить для «длинного списка» свою кандидатуру. Кого? Талантливого владимирца Анатолия Гаврилова, некогда дебютировавшего в журнале «Волга» сверхкраткими рассказами, теперь же выступившего в «Октябре» со сверхкраткой повестью «Берлинская флейта»? Сергея Гандлевского, роман которого доставил мне огромное наслаждение изысканным мастерством и взволновал близостью жизненного опыта человека одного со мною поколения? Но «Опыты» Марины Вишневецкой меня поразили.

А надо сказать, что в обязанности члена АРСС входило не только номинировать произведение, но, в случае его выхода в финал, предварять пред торжественным обедом своего кандидата вступительным словом.

Вишневецкую же номинировал только я. А в столицу выбратся не смог.

Парафразируя Некрасова, можно сформулировать стоявшую предо мною проблему-дилемму следующим образом: «Обедать можешь не ходить, / Но Слово ты сказать обязан!»

В растерянности я сочинил речь. Читал ее в мое отсутствие красивый и артистичный Женя Шкловский. Скорее всего, именно его исполнению мой текст и был обязан некоторому (как мне сообщили) успеху у квалифицированной аудитории, собравшейся 6 марта 2003 года под высокими стеклянными крышами Музея Пушкина на Пречистенке.

«За свои без малого 60 лет жизни я прошел все положенные этапы отношения к русской литературе. Ненависть к школьному “Евгению Онегину”. Тайное чтение запретного: в 7-м классе Барков, на 1-м курсе “Лолита”. Маятник Толстой – Достоевский. И так далее. С возрастом, опять-таки как положено, все более стал не столько читать, сколько перечитывать. Постмодернисты отбили последний вкус к новизне. Сорокин и далее слышалось уже словно из другого мира – как сквозь воду.

Скромные радости, как правило, от родственных мне текстов, например, Евг. Попова. Явление других, младших на полпоколения: Марина Палей, Алексей Слаповский, Андрей Дмитриев, что-то там такое у них происходило, у самого же – наугад открытая страница с засаленным халатом Федора Павловича или давящимся русским блином Гуго Пекторалисом.

Некие смутные полу-надежды – бывает день, бывает час... нет, для предчувствий или натура нужна почувствительнее, или хотя бы возраст посвежее.

Словом – я никогда не мог помыслить о том, что доживу до явления совершенно нового писателя.

Когда в 1996 году в «Волгу» попала “Глава четвертая, рассказанная Геннадием” Марины Вишневецкой, то, разумеется, напечатал, отчетливо видя безусловный талант автора и столь же безусловную ненужность этого текста для себя, своего опыта, и уж конечно не мог прозреть в ней грядущего автора “Опытов”. Тяжкий речевой поток «Главы» не предвещал (для меня) неоклассического слога “Опытов”.

Я не то чтоб не верил, а просто не думал о том, что нынче напишут до минуты нашему дню, нашему сознанию современное, и – в каждом жесте всегдашнее, во всей цели и смысле своего движения, уж простите за высокопарность – вечное.

Жуткое слово “самоидентификация” звучит в отношении “Опытов”. Верно. Как сердцу высказать себя. Плоть. Дух. Опыт. Все важно. И все перед чем-то главным, нет, не отступает – куды там отступает, нарастает, и – не становится главнее главного».

Первую премию присудили Марине Вишневецкой.

Немец, перец, колбаса...

...жарена капуста, съел кобылу без хвоста и сказал «как вкусно»! Такая была дразнилка во времена моего детства, хоть ни одного живого немца мы не видели. Местных выселили в самом начале войны, а пленных недавно убрали из города, еще распространял запах стройки возведённый ими трехэтажный дом на нашей Малой Казачьей улице.

Ну и конечно в играх в войну никто не хотел быть немцем, все хотели быть нашими. Что еще?

Еще не в дефиците были германские монетки, ременные бляхи с Готт мит унц, губные гармоники. Еще в офицерских семьях на трельяжах и буфетах и диванных полочках красовались бело-розовые фарфоровые пастушки, и там кушали с тарелок с такими же пастушками, и учили детей музыке на красивых маленьких аккордеончиках-четвертушках, и всем было понятно слово *трофей*.

Еще на Воскресенском кладбище помню горы сваленных плит и надгробий с немецкими надписями: их привезли с уничтоженного немецкого кладбища на Стрелке для повторного использования на русском.

Мой отец до войны был журналистом. Рассказывал, как был в республике немцев Поволжья спустя несколько часов после того, как их, по выражению Твардовского, «вывезли гуртом». Безлюдные села были совершенно живыми – топились печи, лаяли собаки, по улице бродили ревущие недоенные коровы. И – ни души.

Про них, про немецких коров вспоминает и Анна Алексеевна Краснова: «Скотина уходила в леса». Вспоминает и про хозяев, с 24 килограммами груза, увозимыми семьями

в Татищево и далее в неизвестность: «Кто поет, кто плачет, кто ревет». Она же вспоминает и про чистоту, царившую в немецких селах, про штраф за брошенную папироску. А другая русская женщина, помоложе, Надежда Колесникова, сожалеет, что «Поздно снимать начали. Они уже все ушли, которые могли рассказать, что тут было. Сейчас немцев у нас нет». Так называется и фильм саратовского телевидения, созданный в 2003 году, когда местное ТВ ещё не было сервильным придатком власти, как сейчас.

Смотреть его нелегко. Вновь слышать о лагерях, смертях, голоде, унижении. Вновь задаваться вопросом: почему? Вновь споткнуться о слова «мы» и «они» – ведь так хотелось бы только «мы» о себе и о российских немцах – судьба-то два века была общей. Время волею вождей рейха и СССР распорядилось иначе. А жило в немреспублике больше полумиллиона человек, из которых больше 60% немцы.

А потом старый российский немец уехал с русской родины на немецкую. Брошенный дом. «Дом без хозяина». Совсем как у немецкого писателя Генриха Белля, который в молодости воевал в России, а потом долгие годы пытался понять, отчего же *все это* случилось. Теперь где-то там в Германии Фохт, быть может, рассказывает о минувшем?

Вряд ли. Ведь он плохо знает немецкий. Говорить еще так-сяк, а читать вовсе не может. Азербайджанский, который заставляли учить в далекой от родного Поволжья школе, ему куда понятней. «Почему? – Немецкий не идет в голову и все». Поймут ли его тамошние немцы? Немец-то он немец, но притом еще и русский. Да и советский вдобавок – вон с какой благодарной улыбкой вспоминает об освобождении, случившемся, по его убеждению, как ответ на его жалобы маршалов Ворошилова и Буденного, написавшего коменданту лагеря. Не освободишь, дескать, невинного Фохта, – припугнул Буденный, – сам приеду и вас постреляю!

У меня есть личное впечатление от встреч в Германии с русскими немцами, которые сетовали на свою неприживаемость к местным порядкам и обычаям, вроде того, что здесь ходят в кафе, вместо того чтобы закупить выпивку и продукты в магазине, что намного дешевле, и посидеть компанией дома.

В Саратове почти незаметно особого, отличного от других городов, присутствия немецкого. Не думаю, что рядовой саратовец с готовностью ответит на вопрос, скажем, кто построил величественные здания мельниц на берегу Волги, или что такое Республика немцев Поволжья и как назывались некогда Маркс, Красноармейск... Зато легко вспоминается постыдная антинемецкая кампания начала 90-х вокруг предполагаемого восстановления немецкой автономии, или вызывающая волокита с поисками достойного помещения консульству Германии в Саратове, притом что в целости сохранилось здание немецкого консульства 1908 года постройки на Рабочей (Дворянской) улице, которое в советское время занимал аэроклуб, теперь же разместились нефтяники.

В отличие от других депортированных народов, которым вместе с реабилитацией 1956 года было разрешено вернуться в родные места, поволжским немцам лишь в 1972 году вышло дозволение покинуть места ссылки. А когда в 1989 году было официально оформлено Всесоюзное общество советских немцев «Возрождение» (существовало до 1993), объединившее в своих рядах более 100 тысяч человек, и встал вопрос о восстановлении немецкой автономии, тут уж поднялось саратовское руководство, возник лозунг «Не позволим кроить Родину». Местной власти во главе с так и не наказанным Аяцковым были не нужны работающие и не признающие «откатов» немцы. Финансировалась же антинемецкая кампания пресловутым «Главсредволгводстроем» во главе с Иваном Кузнецовым¹. А что стоило бойким ребятам из комсомольских органов

¹ Через «Главсредволгводстрой» («Главк Кузнецова» – крупнейшая в стране мелиоративно-строительная организация и крупнейшее предприятие в области) ежегодно проходило капиталовложений примерно столько же, сколько через все предприятия и организации Саратова.

разъехаться с немерянными мелиоративными деньгами по городкам и сёлам бывшей немреспублики, чтобы, угощая местных жителей, погрязших в нищете, растерявшихся от перестроечного урагана, убедить в том, что немцы хотят у них отнять землю.

А в моей жизни немецкая тема возникла совсем неожиданно, когда в 2018 году мы продали городскую квартиру и купили дом неподалеку от села Багаевка в коттеджном поселке Союз на улице Рейнская. Но это отдельная история.

Бригантина

Моя юность пришлась на начало 60-х годов, и, казалось бы, приметы того времени должны быть мне близки, но почему-то наоборот. Я неприязненно вспоминаю животрепетную мебель на подгибающихся ножках, пластмассовые светильники на разновеликих шнурах, коврики из морской травы, широкий экран в кино, твист и летку-енку, узкие брюки вместо широких, молодёжные кафе, нейлоновые носки и рубашки, остроносые туфли, черные тени вокруг глаз, начёсы, стеклянно-дюралевые стены вместо кирпичных и обязательно, непременно, иронический тон по любому поводу и предмету.

Тогда же агрессивно проникло в широкий обиход ненавистное мне слово «романтика»: «А я еду, а я еду за туманом...»

И ещё «Бригантина». Благополучные и благоразумные граждане, трогательно поглядывая друг на друга, с чувством выводили за хорошо накрытым столом: «Пьём за яростных, за непохожих, за презревших грошевый уют...»

И обязательно! надо было знать и хором петь Окуджаву.

Мне приходилось печатно сталкиваться с покойным Станиславом Рассадиным по поводу моего ироничного отзыва о шестидесятниках. Отдавая должное их искренности и порыву к свободе, я отмечал хронический инфантилизм, нетерпение в делах, пренебрежение к будничным обязанностям и обязательствам.

Разумеется, моё неприятие вызывал не Окуджава, а культ Окуджавы, созданный тем же Рассадиным и «шестидесятниками» (термин-то Рассадина). Я их неплохо знал, во всяком случае провинциальных – покойный брат мой был старше меня на 12 лет и являл собою пример лучшего и худшего в этом несчастном поколении, чье детство пришлось на войну, а потом им долго не давали хода их старшие братья – фронтовики, занявшие все ключевые посты и в профессиях, и на службе. Как просил сорокалетний Евтушенко, чтобы дали ему журнал, для которого он даже придумал название: «Мастерская». Не допустили, и не столько потому, что он был неопасно опасен для власти, но и по возрасту паспортному и социальному. Потому и кинулся он в 91-м году на руководство в СП уже в 60 лет – вовремя не добрал должностей. Были, конечно, и исключения, но тех, кто причислял себя к шестидесятникам, до старости отличали чувство обиды, недоданности – в детстве отцов, хлеба и тепла, в юности высокого роста и спортивной фигуры, затем условий для карьеры. Недаром первыми президентами страны, так скверно с нею обошедшимися, были Горбачев и Ельцин из этого поколения.

Невыездной

– Как?! – вскричала моя бывшая одноклассница, ныне риелтор. – Ты не бывал в Париже?! Разве можно прожить жизнь, не побывав в Париже, не ступив ногою на древние камни его мостовых... (ну, и далее по тексту).

Утверждаю: можно.

Я никогда не бывал и теперь уже не побываю в Париже, так же, впрочем, как и в Лондоне, Риме, Мадриде, Токио, Вене, Пекине, Сеуле, Каире, Женеве, Будапеште, Лиссабоне, Гамбурге, Рейкьявике, Монреале, Тель-Авиве, Брюсселе, Вашингтоне, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе, Милане, Праге, Софии, Бухаресте, Мехико, Бейруте, Стамбуле,

Хельсинки, Улан-Баторе, Неаполе, Афинах, Торонто, Шанхае, Нью-Йорке, Дели, Джакарте, Бангкоке и даже в Мельбурне, где родилась моя мать.

Постоянно путешествующих московских приятелей озадачивает мое простое объяснение на этот счет, что я – невыездной.

Они пугаются советского слова: неужели у вас там, в глубинке, до сих пор царит КГБ, то есть ФСБ, который...

Нет, терпеливо объясняю, не КГБ и не ФСБ, у меня просто нет денег на самостоятельные поездки. А не принадлежа ни к какой организации, где раздаются гранты, не будучи ни депутатом, ни чиновником в «команде», посылающей друг друга подальше на бюджетные средства, не имею шансов на включение в «делегацию».

Конечно, напрягшись, я бы мог слетать на несколько дней в Хургаду или Стамбул, но меня охватывает ужас от формулы «все включено» и от большой вероятности оказаться в обществе авиадебошира моего земляка Кабалова.

Но, положив руку на сердце, скажу, что невозможность ездить по миру для меня ничто в сравнении с лишением прав передвижения по родной стране и даже по области.

В старое время я предпочитал водные пути. Командировка в Волгоград? К моим услугам был двухпалубник типа «Узбекистан», ежедневно отправляющийся к нашим соседям. Срочно надо в Самару? Красавец «Метеор» полетит туда со скоростью автомобиля.

А если в отпуске хочется отдохнуть без шумных коллективных пений под аккордеон и визгливого голоса массовика-затейницы? Тогда покупай билет на рейс тепло-электрохода или даже – для ретро-кайфа – на старинный пароход, хоть до Москвы и обратно, хоть до Перми, хоть до Астрахани.

Да что там! И в Синенькие, и в Чардым предпочитаешь не трястись на автобусе, а сядешь на «омик»...

Недавно широко прошла информация по опросу Левада-центра: среди руководителей прошлого века предпочтение опрошенных было отдано Брежневу. Меня удивил не результат, а удивление тех, кто не ожидал его: страшно далеки они от народа. Кого же «тихим добрым словом» не помянуть, если не того, со временем которого связаны и бесплатные «шесть соток», и бесплатные пионерлагеря с пищей не обильной, но которой дети не травились, как сейчас, и передвижения по реке в разные стороны, и... чего уж там! – и возможность вынести с завода кое-что необходимое для дома, но не наносящее заметного урона экономике и обороноспособности страны (во всяком случае, несоизмеримого с аппетитами гарема Сердюкова), кого вспомнить, если не его?

Царицын-Сталинград-Волгоград

Все чаще раздаются голоса тех, кто требует вернуть городу Волгограду историческое имя Сталинград. И в этом, надо сказать, есть отчасти некая историческая справедливость: мир узнал о городе на Волге не потому, что он носил имя Сталина, а потому, что разгром немцев 1942-43 года имел решающее значение в ходе великой войны. В таком качестве имя города стало нарицательным – как Ватерлоо, Аустерлиц, Бородино. Переименование было произведено Хрущевым в рамках «борьбы с культом личности и его последствиями» крайне грубо и неумело. Начать с того, что переименованию предшествовало введение запрета на упоминание не только имени Сталина, но и города Сталинграда. Чтобы как-то назвать битву, ввели эвфемизм «Битва на Волге». И была выбрана совершенно нелепая замена на Волгоград. Помню, как все недоумевали: так можно назвать любой крупный город на Волге! И в переименовании города, и в запрете на исторические имена и названия проявилась внедренная именно Сталиным традиция – вымарывать из истории все, что неугодно сегодняшним властителям. В этом (и не только в этом) Хрущев показал себя прямым наследником Сталина. А следующий за ним

Брежнев внес запрет уже на имя кукурузника, при котором вместо Сталина говорили «культ личности», а при дорогом Леониде Ильиче вместо Хрущева говорили «волюнтаризм».

Все так. Бороться с историей, ее именами, названиями, да и памятниками глупо и смешно.

Естественно, я против того, чтобы в Саратове, как предлагали местные коммунисты, возвели памятник Сталину. Но если бы таковой уже был, я был бы против его сноса. Как и существующего памятника Ленину. И считаю, хорошо, что в Саратове уцелел памятник Дзержинскому. Не потому, что отношусь к его деятельности с пиететом, а потому, что и деятельность была, и памятник давно есть. И Лубянская площадь без памятника железному Феликсу потеряла, прежде всего, в эстетике своей. Я не знаю, были ли в Германии памятники Гитлеру. Кажется, нет, но если бы и были, их следовало оставить. Разве он был единственным, а не всего лишь одним, просто более близким по времени, из злодеев в истории человечества, имена которых нельзя вычеркнуть, потому что они были.

Возведение же памятников диктаторам прошлых эпох носит сугубо политическое значение и будет знаменовать победу одной политической силы над другой и способствовать еще большему расколу в обществе. То же самое и с «возвращением исторического имени». Случись таковое, оно сразу примет политический характер и будет воспринято и сталинистами, и антисталинистами как реабилитация деяний Сталина.

К тому же те, кто за это ратует, сами не историчны. Город 336 лет носил имя Царицын, и лишь 36 лет – Сталинград. Так какое же имя историчнее?

Когда я слышу, что вновь возник вопрос: Волгоград-Сталинград, вспоминаю, как тамошний поэт, тогда ещё Лёва, Кривошеенко, мечтательно прикрывая глаза, рассуждал о том, что в их городе всё равно должен быть свой журнал, и называться он будет – непременно! – и тут он даже зажмурился: «Ста!лин!град!!!»

Лёгкие деньги

Когда я работал в журнале «Волга», он был по определению журналом межрегиональным, причем за ним были «закреплены», кроме чисто волжских городов, ещё и Пенза, Киров, Владимир, Йошкар-Ола, Саранск.

Сотрудники журнала с большей или меньшей регулярностью и охотой посещали подведомственные города, встречались с местными писателями. И в рамках этой двусторонней связи было затеяно ежемесячно публиковать в областных газетах информацию о содержании очередного номера журнала. Комментариев и оценок информации не содержали, надо было лишь отослать текст после разрешительного штампа цензуры на верстке номера.

Долгое время их сотворением занимался ответственный секретарь редакции А.П. Давыдов, пока однажды он перепоручил это дело мне и Коле Машовцу, обойдя двух более взрослых редакторш, что любви их к нам не прибавило. Но Коля вскоре уехал в Москву, и оставшись единолично на деле, я ни с кем уже с ним не делился по причине его доходности.

Информация при небольших отклонениях должна была вестись в две машинописные странички, или 2500 знаков. Сочинение требовало... да ничего не требовало – взять вёрстку и переписать содержание номера с небольшими пояснениями типа «Известный марийский поэт выступает в январском номере...» Или – «Номер содержит неизвестные факты из жизни Федора Гладкова», или «В номере читателя привлекут страстные строки...»

Об этих неафишируемых деньгах однажды с большим удивлением узнала моя первая жена, когда в моё командировочное отсутствие стала по утрам обнаруживать в почтовом ящике ворох извещений о денежных переводах.

Платили немного – рублей по 7-10, но областей было 15!

Самое страшное

Одно время почему-то часто бывал на похоронах, и самое всегда впечатляющее, что всегда живо вспоминается, это, когдаходишь к покойнику. страх перед запахом. Почему изо всех малоприятных связанных с трупом обстоятельств, именно запах действует всего сильнее?

«Буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то сыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа».

То есть пришедший к покойному сослуживцу Пётр Иванович с не называемой фамилией заранее ждёт запаха.

Я уж не говорю, про огромную, если не сказать, великую роль тлетворного духа в «Братьях Карамазовых», где запах от тела почившего старца Зосимы... Впрочем, что это пересказываю Достоевского? «Но еще не минуло и трех часов пополудни, как совершилось нечто, о чем упомянул я еще в конце прошлой книги, нечто, до того никем у нас не ожидаемое и до того вразрез всеобщему упованию, что, повторяю, подробная и суетная повесть о сем происшествии даже до сих пор с чрезвычайно живостью вспоминается в нашем городе и по всей нашей окрестности. Тут прибавлю еще раз от себя лично: мне почти противно вспоминать об этом суетном и соблазнительном событии, в сущности же самом пустом и естественном, и я, конечно, выпустил бы его в рассказе моем вовсе без упоминования, если бы не повлияло оно сильнейшим и известным образом на душу и сердце главного, *хотя и будущего* героя рассказа моего, Алеши, составив в душе его как бы перелом и переворот, потрясший, но и укрепивший его разум уже окончательно, на всю жизнь и к известной цели».

Именно трупный дух был следствием «перелома» и «переворота» всей жизни героя, куда уж больше!

И всё-таки в романе тлетворный дух становится событием из-за ожидаемой (или отвергаемой) нетленности старца в силу его святости, но почему – возвращаюсь к началу моего вопроса: в нашей жизни самый труп вплоть до прикосновений к нему не внушает столь необъяснимого ужаса, как запах?

Экономы

Леонид Леонов: «Ненавижу утечку полезного материала. Домработница Настя сыплет в траву овес для кур. Я убил бы её за это. И все она делает так. Угощать я люблю, пусть едят, сколько хотят. Но взять яблоко, не доест и бросить – это мне ненавистно». Дневник Чуковского, 5 сентября 1946.

«...там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю!.. Постой, куда же ты? Дурачина! эхва, дурачина! Бес у тебя в ногах, что ли, чешется?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, испортился, так пусть соскоблит его ножом да крох не бросает, а снесет в курятник». «Мёртвые души».

Ещё про Леонова: «Когда однажды я спросила у писателя, как можно было бы написать его биографию, то он ответил на мой вопрос вопросом: «А как можно написать биографию Достоевского?» (Инна Ростовцева, Наш современник, 2018, №12)

Марс

В 10-м классе преподавала у нас астрономию... странно, да? ещё бы танцы или латынь (а сейчас, кажется, из гимназического возвращается в школу разве что Закон Божий...), так вот, преподавала у нас астрономию белёсо-рыжая немолодая учительница, мать известной актрисы Лилии Толмачёвой, очень-очень с ней обликом схожая.

Возможно, как далеко не первый ученик, я преувеличу, но по астрономии у нас никто отлично не учился, за исключением Вовки Бабаяна, сызмальства нацеленного на золотую медаль.

Учительница добротой не отличалась. В ней как бы сквозил комплекс неполноценности её предмета, как у преподавателей пения, физкультуры или труда.

Меня она откровенно ненавидела после моего ответа, который даже получил популярность в школьных коридорах: «— Что ты можешь рассказать о Марсе? — И на Марсе будут яблони цвести!»

Наше место в буфете

Сколько помню, саратовская интеллигенция страдала по отсутствию в городе клуба творческих работников. Сочинялись прожекты, писались письма — с примерами: дескать, в Воронеже есть, в Волгограде есть. В основе лежало простое и понятное желание иметь место, где бы, как в московском ЦДЛ, ЦДРИ, ДОМЖУРЕ или Ленинградском доме писателя на ул. Воинова, творческие люди собирались бы, чтобы обсудить новую пьесу, или провести очередное собрание (в московском ЦДЛ партком располагался при входе в ресторан), ну... ну и выпить рюмочку-другую.

То ли у начальства были сильные опасения насчет этой самой «другой», то ли помещения не находилось (но ведь были на зависть писателям, актерам и художником Дом ученых и Дом учителя!), только мечта о клубе оставалась мечтою

Утверждать, однако, что власть вовсе не заботилась о досуге творцов прекрасного, было бы несправедливо. Существовал семинар творческой интеллигенции при горкоме партии. Раз в месяц к зданию горкома подтягивались народные и заслуженные, известные и молодые деятели пера, резца и Мельпомены. Возбужденные, весёлые, поднимались они на второй этажа горкома (где нынче окопался г-н Аксененко), занимали места, и, ведущий, чаще других им был покойный Н.Б. Еремин, объявлял тему встречи. Например, производство стекла. Или мелиорация. Или авиастроение. Соответственный руководитель отрасли рассказывал о делах.

Наконец, ведущий объявлял: по автобусам. И — еще более веселые и возбужденные, чем вначале, творцы спускались вниз.

И мы отправлялись то на завод техстекла, то в яблочную Багаевку, то на СЭПО. Здесь теория предстала в практическом виде. В Багаевке, например, на всем пути следования экскурсии были расставлены графины с яблочным соком, который предлагалось отведать, при дегустации оказывалось, что сок крепко разбавлен водкой, для, как с серьезными лицами объяснили хозяева, консервации. А ведь еще предстоял многочасовой обед, как сказали бы теперь, «в формате без галстуков».

Смех смехом, но и в самом поглядеть в свете алого адского огня как работает стеклодув или побывать у полусобранной туши «АНа» — было здорово. Горком мудро достигал сразу двух целей: общение творческих работников с трудящимися города и села и досуг этих самых беспокойных работников, про которых злоязыкий поэт-сталинист Игорь Кобзев некогда написал: «Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него!»

Припоминается, что лекциями дело не ограничивалось. Нам демонстрировали планы, показывали макеты, по которым должен развиваться Саратов. Темпераментный поэт Тобольский как-то прямо-таки раскричался при демонстрации плана гостинца «Словакия», утверждая, и думаю, справедливо, что этот поставленный на попа коробок запрет нашу, и без того коротенькую, набережную.

Ну, обед это само собою. Водку по столам расставляла инструктор горкома по культуре милый человек Людмила Павловна Гуляева.

Иногда после, но чаще перед обедом силами приехавших давался концерт в заводском Доме культуры или сельском клубе. Ну, а после концерта бывала заключительная часть, уже совсем без галстуков.

...Сейчас вроде объявлен в доме графа Нессельроде клуб творческих работников Саратова. Само здание – одно из немногих уцелевших саратовских сокровищ архитектуры. О работе клуба судить не берусь, но по афише похоже на лекторий.

Да, а буфет имеется? Клуб без буфета не клуб. А буфет «без подачи» не буфет. Слова Шмаги «Мы артисты, наше место в буфете!» – бессмертны.

Стихотворство

Разбираю свои старые бумаги, такие литераторы, называющие свою работу творчеством, именуют «мой архив», изредка натыкаюсь на стишки, писанные по разному поводу.

Ну, вот как-то на Новый год:

*Мой милёнок не урод,
Служит он в милиции.
С ним мы каждый Новый год
Совершаем фрикции.*

Летом, когда саратовскую набережную каждую ночь заполняли поющие голоса:

*Когда мне невмочь всё внимать и внимать,
Как пьяный поёт про троллейбус,
Мне хочется шею пойти и намять,
Толкнуть под троллейбус.*

*Полночный троллейбус, певца задави!
Чтоб кончилась песня Булата,
Ведь в темной ночи,
кроме слов о любви,
одно лишь молчание – злато.*

На лекции однокурснице:

*На стенде висит Федин
И он же на стене,
То в шляпе он из фетра.
То с трубкою во рте.
А вы вот не висите,
Не знает мир про вас.
Так что ж вы не грустите?
Влезайте на Парнас!*

*Лекцию пишешь зря,
Скоро не будет нас.
Лишь на кладбище узрят
На могилке лицо анфас.*

Стихи Илюшеньке на прощанье:

*Скоро взлетит самолет, управляемый смелым пилотом,
В нем унесешься туда, где Антоша жил Чехонте.
В этом же лайнере легком и Елена прекрасная будет,
Выставив нечто вперед, к чему прикуются всех взоры.
Но это все лишь для тебя
в шерстяном стопроцентном костюме,
Ибо ты взор на гвозде останавливать можешь так славно.
Верю, что пляжный ансамбль, переделанный точно по жопе,
Пляж августовский смутит, чем Елена сумеет гордиться.
День будет жарок и сух под яичным распущенным солнцем,
Ноги скульптурны твои негритянским покроем загаром.
И однако день лишь для того,
чтоб на вечер вам свету хватило.
Чтоб озноб под нейлоном прошел
перед первым глотком Каберне.
Светлый тон, свет неон и коньяк,
грим лежит на улыбке подруги,
Миксер сверкает, как лещ,
подсекаемый Хэмом в Майями.*

Мой друг Илюша Петрусенко, с которым нас связывали почти 60 лет дружбы, с детства любил ездить в Ялту.

Из этой фразы можно заключить, что его родители были богаты, но это совсем не так. Отец ушел от них, когда Илюша учился во втором классе, и мать, подобно многим одиноким матерям, выбивалась из сил, чтобы её Илюша ничем не был обделён. На деле было так, что я, писательский сын, Ленка, профессорский, и даже Витька, чей отец был директором торговой базы, никогда не имели таких нарядов, как Илюша, не ездили ежегодно в Крым.

«Взор на гвозде» – это как-то за выпивкой болтали о потенции, и Илюша сказал, что для долготояния надо на чем-нибудь постороннем фиксировать взгляд. А тогда Илюшка, собравшись в Ялту, обнаружил, что туда же летит и наша общая знакомая Ленка К., обладавшая не по возрасту большим бюстом.

Подогнанный пляжный ансамбль и стопроцентный костюм взяты из Илюшкиной склонности к нарядам. Хэм тогда – едва ли не главный для нас писатель.

А откуда размер, вроде как гекзаметр? По нему можно точно определить дату написания стишка – лето 1966 года, когда минувшим семестром первого курса на филфаке была «античка».

Да, всегда в рифму только шутовился, а в августе прошлого года вдруг написал:

Захлопнув день, как дверь,
Я погружаюсь в сон.
Всё слаще он теперь
Всё бесконечней он.

И верь тому, не верь,
Захлопнется она,
Которая, измерь –
Уже короче сна.